

Старые и новые державы в войнах кризиса порядка

(начало на стр. 1)

Из предисловия к готовящейся к выходу на итальянском языке книге Гuido Ла Барберы “*Guerre della crisi dell’ordine*”.

Фёдор Лукьянов, президент СВОП, полуофициального Совета по внешней политике и обороне, редактор журнала “Россия в глобальной политике”, комментирует открывшийся на земном шаре электоральный год, выдвигая гипотезу возможного успеха в странах Большой семёрки «популистских» партий и поражение правящих коалиций, чьи перспективы якобы ухудшаются. Внимание приковано в основном к Соединённым Штатам в связи с возможным возвращением Дональда Трампа, а также к европейским выборам; противостояние будет происходить между «популистами» и «истеблишментом». По его мнению, существует «мировое большинство», которое считает, что Запад, «меньшинство», злоупотребляет своей властью. 2022 год стал переломным, потому что с интервенцией на Украине впервые был брошен прямой вызов глобальному меньшинству, находящемуся у власти. Не «мировым большинством», потому что Россия оказалась как бы в подвешенном состоянии, но «прецедент создан». В 2023 году можно было убедиться, что старые ограничения, старые «правила», на которых основывался глобальный порядок, прекращают действовать. 2024 год может стать «годом больших выборов», они пройдут в большинстве стран мира: «мировое большинство» и новое большинство «в странах меньшинства», то есть на Западе, «могут вступить в резонанс».

То, что кажется довольно безрассудной политической авантюрой, становится понятнее, если обратиться к книге “*Russland und der Westen*” (“Россия и Запад”), рецензию на которую опубликовали *Frankfurter Allgemeine Zeitung* и *Süddeutsche Zeitung*. Её автор Катарина Блюм получила образование в Берлинском университете имени Гумбольдта и МГУ имени Ломоносова. Блюм оспаривает, что Владимир Путин намерен вернуться к условиям СССР и стремится к изоляции России на основе *евразийского мифа*; «либерально-консервативное» движение в Москве стремится к «*многополярному мировому порядку*» и эклектично использует западные идеологии.

Путин предстаёт не как абсолютный «автократ», а скорее как «модератор» между различными группами интересов в рамках картеля власти. Здесь большое значение имеют итоги катастрофы СССР в 1989–1991 годах и последовавшая за ней экономическая и политическая борьба за реструктуризацию «*государственного капитализма*». Первоначально консервативное контрдвижение было в основном защитой от планов либерализации, продвигаемых Борисом Ельциным, когда некоторые круги в России и за рубежом намеревались интегрировать российскую экономику в западную в подчинённой роли поставщика сырья. К концу 1990-х годов этот «*фундаментальный конфликт*» между западными реформаторами и оппозицией привёл, с одной стороны, к тому, что российские группы «*государственного капитализма*» оказались более устойчивыми, чем считалось ранее на Западе. С другой стороны, это утвердило «*авторитарный*» или «*либеральный консерватизм*» в качестве государственной идеологии, которая поддерживала видимость плюрализма и демократии путём жесткого контроля над общественным мнением.

Переломным моментом стали выборы 2012 года, когда Путин начал свой третий президентский срок; консервативная элита всё больше разочаровывалась в Соединённых Штатах и Европе из-за маргинализации России на мировой арене. С тех пор установилась связь между «*олигархическим государственным капитализмом*» как экономической формой и «*нелиберальным консерватизмом*» как государственной идеологией. В описании Путина как «*модератора*» между различными интересами мы отмечаем, как *суверенная демократия*, российский вариант *империалистической демократии*, тем не менее отражает плюрализм государственных и частных групп: поэтому даже всеобщие выборы – это больше, чем просто пропагандистская операция, по которой можно измерить массовый консенсус в отношении *войны на Украине*.

Ещё более интересным представляется наблюдение Катарини Блюм о стратегических намерениях России. Путин, резюмирует *Süddeutsche Zeitung*, ставит под сомнение не только превосходство Запада, но и формирующийся «*биполярный мировой порядок*», в котором якобы будут доминировать США и Китай. Россия должна стать ведущей силой на

«глобальном Юге»: в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке и Латинской Америке; это предоставило бы Москве возможность утвердиться в качестве «третьей крупной державы» наряду с Вашингтоном и Пекином. В этом смысле Путин стремится к «многополярному миру» в противовес кондоминиуму между Китаем и США.

Учитывая исторический опыт России, слабой в экспорте капитала и склонной компенсировать это экспортом войны, есть все основания сомневаться, что эта перспектива – иллюзорная лазейка или, по крайней мере, чрезмерные амбиции перед лицом стратегической диспропорции, которую война наложила на отношения между Москвой и Пекином. В этом смысле мы видели Россию «под угрозой», если война приведёт к разрыву связей на Западе и к подчинённым отношениям с Китаем. В конечном счёте даже смелые надежды Лукьянова на выборы в США и Европе имеют в качестве подтекста предположение о перебалансировке отношений с Вашингтоном или ЕС.

Российский вектор в Азии по очевидным историческим причинам связан с Индией, что направлено на уравнивание отношений с Пекином, но и здесь мы видели, как Андрей Кortunov сигнализирует о заинтересованности Москвы и Нью-Дели в сопротивлении «наступающей эпохе жесткой биполярности» (РСМД, 7 августа 2023), но в перспективе, которую нужно разделить не только с остальными странами *глобального Юга*, но и с Европой.

Субрахманьям Джайшанкар в своей недавно вышедшей книге “Why Bharat matters” (“Почему Бхарат имеет значение”) обновил индийскую доктрину *мультилатерализма*; использование праотцовского названия Индии призвано подчеркнуть приверженность министра иностранных дел линии явного *индуистского национализма*, проводимой премьер-министром Нарендрой Моди. *The Economist* почти раздражён демонстрацией исторических культурных корней Индии, в то время как руководящий принцип, разработанный Джайшанкаром, – это «*вполне обычный реализм*», а «*не индуистская мифология*», согласно которой «*индийская внешняя политика будет определяться её национальными интересами*».

Раджа Мохан в статье, опубликованной *Indian Express*, напротив видит в основе тезиса Джайшанкара критику «*наивности*» Джавахарлала Неру в отношении Китая и Пакистана, а также его антизападных «*идеологических пристрастий*», с переоценкой линий *realpolitik* и *политики баланса*, которые после обретения независимости обсуждались в том числе и внутри Индийского национального конгресса. Это линия «*Индия прежде всего*», в которой Моди делает выбор в пользу именно пути национальных интересов, отвергнутого Неру, и исходя из которого можно понять позиции, занимаемые сегодня Нью-Дели относительно Пекина, Исламабада или Вашингтона, с «*поворотом реализма в отношении Китая*» и «*практическим взаимодействием с США и Западом*».

Джайшанкар видит глобальный порядок в состоянии «*транзита*», отмеченного относительным американским упадком и большей «*непредсказуемостью*» стратегического выбора Вашингтона, беспрецедентным восхождением Китая по шкале силы и подъёмом других держав. Это запускает процесс «*реглобализации*», которую следует понимать как ослабление прежних отношений и продвижение к реформированному мировому порядку, в котором будет место для национального самоутверждения Индии и других средних держав. Можно понять раздражение *The Economist*, идеологического очага атлантистского либерализма, но акцент на “Бхарате”, помимо очевидных внутренних мотивов, выглядит как оправдание *нового порядка*, правила которого не требуют соответствия с культурными, идеологическими и институциональными стандартами Запада, то есть *старого либерального порядка*. Не случайно претензия на воплощение цивилизованного государства, отличного, если не несводимого, к канону евроатлантического универсализма, муссируется и в России, в идеологической вульгате евразийского движения, и, с некоторыми отличиями, в Китае, в национальном мифе о тысячелетней имперской истории.

В том числе и Индия, в тезисах “Why Bharat matters”, видит себя протагонистом на пёстром фронте *глобального Юга*, достаточно подумать о БРИКС и новых членах этой ассоциации, с некоторыми особенностями, однако, отличающимися её от аналогичных претензий России. В «*ребалансировке*» прежних глобальных экономических отношений, именно в процессе «*реглобализации*», Джайшанкар видит демографическое преимущество Индии, которое может стать офертой на рынке «*глобальной рабочей силы*». В политике «*de-risking*»,

проводимой для диверсификации цепочек поставок путём снижения зависимости от Китая, у Нью-Дели есть шанс *«запрыгнуть в автобус промышленности»*, упущенный в 1990-е годы, когда безоговорочная открытость глобализации пренебрегла инфраструктурой и консолидацией *«индийской промышленности»*. Наконец, отметим, что многостороннее сотрудничество даёт Нью-Дели стратегическую мобильность, которой Москва лишилась из-за войны. Помимо США, России и прагматичных отношений с Китаем, Джайшанкар рассматривает Европейский союз в качестве собеседника, а Францию – как родственную модель в понимании *стратегической автономии* и вдохновительницу ядерной доктрины *достаточного сдерживания*.

В работе “Нужна ли Америке внешняя политика?” Генри Киссинджер написал в 2001 году, что в первой половине XX века Соединённые Штаты вели в Европе *«две войны»*, чтобы не допустить там господства *«своего потенциального противника»*; по той же причине во второй половине века они столкнулись с *тремя конфликтами* в Азии – против Японии в 1941 году, а затем в Корее и Вьетнаме. Результаты, однако, сильно отличались от тех, что были достигнуты в Европе: не возникло интегрированной экономической зоны, сравнимой с ЕС, не появилось военно-политической организации, подобной Атлантическому альянсу, а АСЕАН была свободной группой сотрудничества без обязанностей по обеспечению безопасности. С точки зрения нашего марксистского анализа, не было и не могло быть всемирной *Ялты*; Азия оставалась зоной *многополярности* и *эпицентром напряжённости* империалистических противоречий. Как же Вашингтон, Пекин и другие азиатские державы будут двигаться между угрозами войны и игрой баланса сил теперь, когда Китай обладает империалистическим масштабом, чтобы навязать себя в качестве регионального гегемона? Эта стратегическая точка зрения Киссинджера была сформулирована, когда Китай только вступил в ВТО, его экспорт капитала был незначительным, а экспорт продукции обрабатывающей промышленности находился на первой стадии своего взлёта. Отмечая империалистическую траекторию его развития, мы писали тогда, что открылась *новая стратегическая фаза*. Почти четверть века спустя Китай, по словам Ричарда Болдуина из CEPRI (Центр экономических и политических исследований), является *«единственной в мире производственной сверхдержавой»*, на него приходится 35 % мирового валового продукта, 29 % в стоимостном измерении и пятая часть мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности; вдоль Шёлкового пути вложены инвестиции порядка 1 триллиона долларов. Вопрос в том, как развитие всего региона, появление средних держав, таких как Индия и Индонезия, и вторжение Китая в качестве империалистической державы изменили азиатское равновесие.

Тимофей Бордачёв из Международного дискуссионного клуба Валдай пишет, что Азия и *«Большая Евразия»*, в которую он включает Россию в её отношениях с Востоком, остаются *«пространством сотрудничества»*, несмотря на войну на Украине и скрытую конфронтацию между Китаем и США. Однако существует неопределённость, поскольку *«современные институты международного сотрудничества»* были сформированы в рамках старого глобального порядка, который сейчас находится в процессе трансформации. Не случайно АСЕАН, ассоциация, созданная в рамках *«либерального мирового порядка»*, испытывает наибольшие трудности в политическом плане. Опора на многосторонность в период, когда сила государств выходит на первый план, становится, если читать между строк, фактором противоречий. Не так ли обстоит дело и с Европейским союзом, застигнутым врасплох войной и *атлантическим моментом*, разорвавшим отношения с Россией? Что станет с азиатским *мультилатерализмом*, если напряжённость между Вашингтоном и Пекином ещё больше возрастёт?

Показательна речь Чжоу Бо, занимающего видное место в китайских военных кругах. Речь идёт о порицании Филиппин, которые обвиняются в том, что США втянули их в спор за Тайвань в качестве *«прокси»*, марионеточных агентов, и позволили Вашингтону вернуть девять военных баз: *«Давно говорят о центральной роли АСЕАН. Однако такая роль является условной, поскольку она основана на балансе сил великих держав. Если великие державы вступят в конфликт, АСЕАН окажется в центре сражения, и её центральное положение сойдёт на нет»*.

Это предупреждение не может не затрагивать Индонезию, которая является ключевой державой в АСЕАН. С оттенком высокомерия Чжоу Бо заходит так далеко, что сравнивает

АСЕАН не более чем с «чайным домиком», где можно вести хорошие беседы: её центральное положение – это «миф», хотя и «полезный», служащий форумом для дискуссий между державами в регионе. Возможно, здесь присутствует поспешная точка зрения одного из военных течений, которое не обязательно занимает центральное место в китайской позиции; однако другие источники, и особенно другие силы, видят АСЕАН в ином свете.

По мнению *The Economist*, «азиатская геополитика часто описывается в терминах только двух гигантов, США как действующей сверхдержавы и Китая как восходящей»: это «игнорирует центральную роль Японии». Токио уделяет больше внимания АСЕАН, чем США и Китаю, и его отношения в регионе вступают в новую эру. За последнее десятилетие прямые инвестиции Японии в АСЕАН составили 198 млрд долларов по сравнению с 209-ю у США и 106-ю у Китая. Иначе обстоит дело с торговыми отношениями: в 2010 году объём торговли Китая и Японии с АСЕАН был практически одинаковым – 236 млрд долларов против 219-и. В 2022 году на Китай пришлось 722 млрд, а на Японию – 269.

И снова обратимся к *The Economist*: усиление Китая подтолкнуло Токио к более активной роли в региональной безопасности. При Синдзо Абэ и Фумио Кисиде Япония ослабила законодательные ограничения в отношении своих вооружённых сил и оборонной промышленности; были заключены соглашения о поставках оружия с Филиппинами, Малайзией, Вьетнамом, Таиландом, Сингапуром и Индонезией. Токио рассматривает укрепление военного потенциала в Юго-Восточной Азии как способ «противостоять китайской напористости в Индо-Тихоокеанском регионе»; по словам японских источников в оборонном ведомстве, «театры связаны между собой [...] связи в области безопасности с государствами, обеспокоенными китайским экспансионизмом, будут расширяться».

Сингапурская газета *The Straits Times* напомнила о 50-летних отношениях между Японией и АСЕАН, в которые внесла свой вклад «стабилизирующая точка зрения» доктрины Фукуды. Провозглашённая в 1977 году, эта линия сделала возможным заключение мирного договора между Токио и Пекином в 1978 году и проложила путь для отношений Страны восходящего солнца в регионе, который начал освобождаться от обид на имперское прошлое Японии в первой половине XX века. Именно поэтому 1978 год, как мы помним, в анализе Арриго Черветто стал «ключевым годом» в международных отношениях.

По мнению *The Straits Times*, Япония и АСЕАН намеревались поднять уровень взаимоотношений «в условиях неопределённости, отмеченной напряжённостью между Китаем и США». С этой целью OSA (официальная помощь в области безопасности), военный эквивалент ODA (официальная помощь развитию) – инструмент японской внешней политики – будет служить «помощью вооружённым силам дружественных стран в укреплении их потенциала по сохранению регионального status quo против ревизионистских попыток изменить его военными средствами». Некогда «агрессор» в Азии, Япония стала «главной опорой регионального мира, безопасности, стабильности и процветания»; АСЕАН ожидает, что Токио снова «усилит свою роль надёжного партнёра против попыток свести Юго-Восточную Азию к побочному продукту соперничества великих держав».

Корнелиус Пурба, главный редактор газеты *Jakarta Post*, ясно показывает, что ключевой силой этой сингапурской линии является Индонезия, которая превращает провозглашённое в 1955 году в Бандунге историческое неприсоединение в многовекторность, сравнимую с индийской, которая, однако, поддерживается историческими и неформальными линиями влияния, пролегающими между Токио и Джакартой. По мнению Пурбы, Япония «является не только одним из важнейших партнёров в противовес соперничеству США и Китая, особенно в Южно-Китайском море», но и «моделью» для Юго-Восточной Азии. Китай будет становиться всё более важным торговым партнёром для АСЕАН, но при этом последняя будет «сохранять отношения с Японией». Токио оккупировал Голландскую Ост-Индию в течение трёх с половиной лет, вплоть до обретения ею независимости в августе 1945 года; в Индонезии нет «антияпонских чувств к империалистическому прошлому Токио, в отличие от Китая и Южной Кореи». После разрыва отношений, последовавшего за событиями 1965 года – кровавых репрессий против прокитайской КПИ (Компартии Индонезии), унёсших не менее 500.000 жизней, что в нашем марксистском анализе было названо «индонезийской контрреволюцией» без революционеров – Китай и Индонезия нормализовали отношения в 1990 году, что позволило Пекину установить отношения с АСЕАН в 1991 году; однако, считает Пурба, чувство взаимной враждебности между Китаем и Индонезией не было

стёрто. Какова бы ни была судьба Кисиды, столкнувшегося с политической бурей внутри Либерально-демократической партии, «*подход Японии к АСЕАН и Индонезии не изменится*»; в Джакарте уже давно верят, что «*Токио выполняет свои обещания*». Некоторые предсказывают, что Китай вскоре заменит США в качестве «*глобальной экономической и военной сверхдержавы*». Однако Токио останется ключевым партнёром: «*Япония незаменима для АСЕАН, несмотря на растущую мощь и влияние Китая. Как минимум, АСЕАН нуждается в обеих державах*».

В этом стратегическом контексте проходят президентские выборы в Индонезии, на которых на смену Джоко Видодо пришла связка вице-президента экс-генерала и министра обороны Прабово Субианто и Гибрана Ракабуминга – сына Видодо. За два срока своего правления Видодо использовал ауру предпринимателя, добившегося всего благодаря личным усилиям, проводя линию на экономический рост, управление экспортом сырьевых товаров и развитие инфраструктуры. Прабово, корни которого уходят в элиту, сложившуюся вокруг Сухарто и старой партии-государства “Голкар”, связывают с более внимательным подходом к реализму, а также к экономической и военной мощи, которая поддерживает проекцию *средней державы*. Компромисс связки Прабово и Гибрана, как сообщает японская *Nikkei*, основан на линии, которая направлена на превращение Индонезии в *промышленную нацию*.

Амбиции Индии и Индонезии, стремящихся к экономическому восхождению как фактору национальной мощи, указывают на динамику неравномерного развития в Азии. Китай переживает поворот в своей *реструктуризации сверху*, который, возможно, не имеет аналогов в последние десятилетия. Инфраструктура и недвижимость больше не могут быть движущими секторами цикла; ранняя *демографическая зима* бросает тень на среднесрочные перспективы. Призывы к кейнсианскому стимулированию, которое на время продлило бы действие старых механизмов, сталкиваются с вопросом долга и фискального равновесия между центром и регионами в той же степени, что и с линией промышленников, которая, в свою очередь, дифференцирована по регионам, группам и секторам; реструктуризация кредитной системы и шаги, необходимые для превращения Китая в международную *финансовую державу*, переплетаются со сроками конвертируемости юаня.

И снова: *процесс социал-демократизации* с развитием услуг, структур и гарантий соцобеспечения, способных повысить внутреннее потребление, должен распутать сложный узел хукоу, системы семейной регистрации по месту жительства. Полмиллиарда человек имеют регистрацию, не соответствующую их обычному месту жительства; почти 380 миллионов составляют так называемое *плавающее население*, которое исключает из подсчёта перемещения внутри городов. Это отпечаток колоссальных социальных потрясений, связанных с разложением крестьянства и урбанизацией сорока лет китайского *экономического чуда*; решение этой проблемы имеет столь же колоссальные социальные, налоговые, политические и даже институциональные последствия.

В открывшемся глобальном электоральном году это отсылает к выборам, которые не состоятся, – к выборам в Китае, где голосование планируется только на местном уровне и на пробной основе. Будет ли китайский вариант *однопартийного плюрализма* достаточно гибким, чтобы стать посредником и представителем столь глубокого и масштабного процесса экономической и социальной реструктуризации в сочетании с вызовами империалистической проекции Пекина, неизвестными величинами *кризиса порядка* и его войнами?

Открытым остаётся вопрос о том, повлечёт ли и в каких формах экономическая и социальная *реструктуризация* также и политическую *реструктуризацию*. Мы уже много лет размышляем над вопросом *империалистической демократии в Китае*: мы отсылаем к этой разработке и к размышлениям о том, как марксистская теория демократии как *наилучшей оболочки* господства капитала способна анализировать в том числе и её *вариации и градации* в так называемых «*китайских особенностях*», классической обтекаемой формуле официальной публицистики.

Книга Чжэн Юннэня “*Civilization and the Chinese body politic*” примечательна тем, как она решает вопрос «*политических изменений*» в рамках однопартийной системы: по мнению *Global Times*, Чжэн является одним из ведущих политических аналитиков в Китае, теоретиком институционализации *фактического федерализма* китайской системы и хорошо известным протагонистом в академическом и политическом мире Юга, в Шэньчжэне и

Гонконге. По мнению Чжэна, вопрос *«не в том, станет ли Китай демократическим»*, а в том, *«какого рода демократия»* там установится. Изменения, вероятно, будут сочетать в себе процесс реформ сверху и экономическое и социальное давление снизу; *«конкурентная либерализация»* режима может *«поощрять появление различных политических голосов и создавать возможности для социальных движений»*. *«Силы»* для таких изменений существуют; политика реформ и открытости, рыночная экономика и глобализация, капитализм и *«классовая дифференциация»* породили силы для изменений; вопрос в том, *«какого рода политические изменения примут форму при слиянии всех этих сил»*.

Однако если под изменениями мы понимаем приведение Китая к *«демократии западного образца»*, то этого не произойдёт; специфическое наследие китайского *«цивилизационного государства»* всегда будет иметь большой вес. То, что произошло в Китае, – это *«демократизация без демократии»*: политическая система смогла включить демократические элементы в существующие механизмы, не превратив всё политическое тело в *«полную демократию»*. Оставаясь однопартийной системой, *«она проявила институциональную гибкость, чтобы измениться и адаптироваться к новым условиям»*.

По мнению Чжэна, главное – сделать отношения между центром и провинциями *«более демократичными»*, что подразумевает обеспечение внутренней демократизации КПК. Здесь линия Си Цзиньпина демонстрирует *«слабость Китая, а не его силу»*, потому что *«сверхцентрализация»* ввергла всю бюрократию и местные органы власти в пассивность. В долгосрочной перспективе всем китайским лидерам, *«включая Си»*, придётся восстановить и институционализировать демократию внутри КПК.

На социальном уровне Китай всё больше превращается в *«открытую однопартийную систему»*, *«смешанную систему»*, сочетающую *«прямую демократию»* на местном уровне и *«косвенное политическое участие»* на национальном уровне. Если бы, с другой стороны, роль однопартийной системы исчезла, как это произошло с СССР или восточноазиатскими демократиями, такими как Южная Корея и Тайвань, *«все возможности были бы открыты»*: именно это произошло в начале XX века со свержением династии Цин и *«вследствие провала эксперимента парламентской демократии»*. Распад СССР и корейский или тайваньский транзит имели противоположные результаты; однако мысли, исходящие от Чжэна, если это не самозащита от реакции режима, скорее, представляют собой предупреждение, чем пожелание. В неизвестных величинах социальных последствий реструктуризации и внешней проекции в условиях глобализации, которая стала конфликтной, можно прочесть ощущение неотложности институционализации федерального порядка.

Февраль 2024 г.